

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆



И. ГРЕКОВА



Хозяйка гостиницы



МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г80

Оформление серии *Натальи Ярусовой*

Грекова И.

Г80 Хозяйка гостиницы / И. Грекова. — Москва : Эксмо, 2026. — 256 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-236224-8

Главная героиня повести «Хозяйка гостиницы» Вера Ларичева, и в центре сюжета — она, ее жизнь, ее судьба, ее любовь и счастье. Мы знакомимся с юной Верочкой, когда в 1930 году она выходит замуж за Александра Ларичева — офицера, человека с трудным характером, не очень молодого и твердо знающего, какой должна быть роль жены в семье. Любя мужа, Вера принимает эти правила и разделяет с ним все тяготы гарнизонной жизни, создавая уют в доме и освещая все своей улыбкой. Веру не миновали испытания, выпавшие на долю ее поколения, но ее сильный характер и талант общения с людьми, талант делать жизнь всех, кто рядом, легче, веселее, уютнее помогли ей обрести внутреннюю свободу, сохранив при этом в себе главное — любовь и доверие к жизни. Это история о том, как многообразно человеческое счастье и как сильна может быть женщина — хозяйка дома, гостиницы, своей жизни.

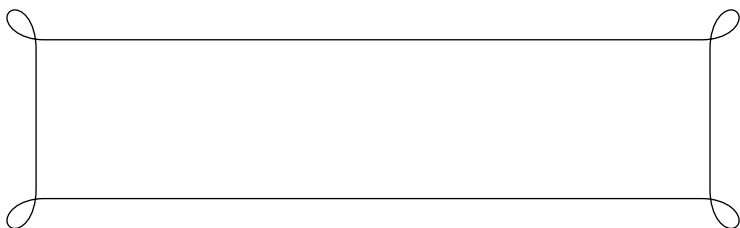
Повесть «Хозяйка гостиницы» легла в основу фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину» (2003).

И. Грекова — псевдоним писательницы и математика Елены Сергеевны Вентцель (1907–2002), образованный от названия буквы «игрек».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-236224-8

© Вентцель Е.С., наследники, 2026
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2026



1

В тысяча девятьсот тридцатом году Верочка Бутова окончила школу. Ей было восемнадцать лет, и она была счастлива.

Ранним утром, только что искупавшись, раскинув по плечам мокрые, соленные волосы, она шла по берегу моря. Розовенькое ситцевое, впервые надетое платье дулось на свежем ветру; спереди оно прижималось к коленям и бедрам, сзади — струилось и хлопало, провожая хозяйку множеством легких аплодисментов. Над головой Верочка размахивала стареньким красным купальником; восхитительно яркий, пока не просох, он взвивался, опадал и вспыхивал флагом. Невысокие волны одна за другой взбегали на берег, круглились, рушились и отступали, оставляя за собой мелкий шепот исчезающей пены. В песке свежо сверкали разноцветные, волной умытые камни. Море тоже было разноцветно: вблизи отливало желтым, дальше — зеленым, бутылочным, а еще дальше уже не отливало, а стояло сплошным монолитом пламенной синевы. Вдалеке, на невидимой нити между небом и морем, белой жемчужинкой завис небольшой пароход, идущий и непо-

движный, — светлая точка настоящего между прошлым и будущим. Белые чайки с черноокаймленными, будто в тушь обмакнутыми крыльями носились над морем, время от времени молниеносно снижаясь и припадая к воде. В их клювах угадывалась цепко схваченная серебряная добыча. Вольная жадность чаек, их ширококрылая свобода была заразительна; Верочка шла широкими шагами по скрипящему, шевелящемуся живому песку, размахивала флагом, и ей хотелось всего. От полноты души она пела немаленьким своим, но не совсем верным голосом старый романс, запетый целыми поколениями русских девушек, начавший жизнь в гостиных и закончивший в кухнях и прачечных, — романс о белой чайке и загубленной женской судьбе:

Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды.
Над озером быстрая чайка летит...

Впереди, за мысом, четко врезанным в голубизну, уходила вдаль узкая полоска пляжа, бедная песком, утесненная корявыми скалами. Берег в этот ранний час был пустынен, и только далеко вдали шла, перебирая ногами, то ли сюда, то ли отсюда, одинокая фигура человека в темном.

2

Верочкино детство было бедное, трудовое, но светлое, солнечное, все в маках.

...В хатке прохладно, ветерок гуляет от окна к окну, колышет тюлевые гардинки; они накрахмалены, коробятся жесткими складками, шуршат, задевая о фуксии, и время от времени какая-нибудь из фуксий роняет розовый каплевидный нежно висячий цветок. Сложно

пахнет яблоками, тмином, полынью, недавно сбрызнутым глиняным полом; он просыхает неровно, пятнами; чуть притоптан с одного боку чистый пестрый лоскутно-вязанный половичок. Стены побелены голубовато, с синькой; они мягко, скругленно сходятся с потолком; легкие полосы выдают, как ходила кисть — сверху вниз или с боку на бок. В углу икона — Николай Угодник. Святой строг, бородат, тонконос, еле виден в коричневом сумраке старой доски; от возраста она изогнулась корытцем. Перед иконой — лампадка рубинового стекла; под ней, на широкой ленте, лиловое бархатное пасхальное яйцо; золотые позументы на нем, если пальцем потрогать, шершавы.

Верочка выходит из хаты, и светлая жара кладет ей на голову горячую руку. Стрекогут кузнечики, воздух полон их знойным звоном. Земля под ногами пыльна, горяча; цепочкой печатаются на ней детские босенькие следы. Вокруг огорода — плетень: разновысокие колья плотно перевиты прутьями; кора кое-где отстала и висит на лычках, обнажая голое гладкое дерево. Красная букашка с черным узором ползет по колу вверх, устремляясь туда за каким-то никому не ведомым букашечьим делом. На самых рослых кольях сушатся кверху дном смуглые глечики в неровной поливе, солнцем сияет пузатая бутылъ слоистого водяного стекла. Зеленеют пахучие укропные зонтики; высокий подсолнух выше плетня поднимает тяжелую свою желтую голову. Внизу, у его твердой граненой ноги, жмутся к земле замысловато изрезанные пыльно-зеленые арбузные листья. А вот и сам арбуз, он величествен, полон тяжелой круглотой, одна сторона — темно-зеленая — жарко нагрета солнцем, другая, нижняя, бледна и прохладна; Верочка все-

гда норовит потрогать арбуз, чтобы еще раз убедиться, какие у него разные щеки. У плетня крутится штопором, цепляясь за прутья усами, хитрый выюнок по имени «крученный паныч»; его крупные нежные сине-лиловые колокольчики, яркие внутри, бледные снаружи, направляют широко разинутые раструбы во все стороны, приглашая пчел. Цветок паныча живет один день — утром разворачивается, а к вечеру уже никнет лиловой тряпочкой. Сорвешь его — сразу завянет, ставь его в воду или не ставь. Верочка тянет к себе, не срывая со стебля, самый большой колокольчик и окунает в него нос по самые щеки. Цветок слабо и сладенько пахнет; когда его нюхаешь, он словно бы всхлипывает и тонко-тонко приникает к ноздрям.

А больше всего в огороде маков. Стройные, сомкнутые, они похожи на веселое войско. Ветер качает маки, они клонятся, и видно, как они разноцветны — розовые, абрикосовые, белые, махровые и полумахровые, и простые красные с черно-лиловым сердцем. Верочка в высоких маках ходит как в лесу, и цветы качаются выше ее светленькой головы. Бабочка-капустница порхает над маками и невзначай садится на Верочкину голову, как на цветок.

3

Семья Бутовых жила на окраине большого богатого приморского города. Город-то был богат, а они — бедны. Верочка с детства привыкла знать, что они, Бутовы, бедны: в доме мало было денег, мало вещей, маловато еды, но это ее не огорчало. Вообще она была девочка веселая, с вечным лучом радости на кругленьком лукавом лице.

Нравом и веселостью она уродилась в отца. Отец, Платон Бутов, был человек веселости неистребимой, хотя и крепко ударила его жизнь. С германской войны вернулся без ноги, да еще и отравленный газами — с тех пор у него внутри что-то свистело. Верочка любила слушать, как в папе свистит, он ей это охотно позволял, прижимая ее маленькое, мягкое, пакетиком складывающееся ухо к своей широкой груди: «Слышь ты, какая музыка». Верочка думала, что отец грудью насвистывает нарочно, для смеху. Посмеяться-то он любил. Был он большой, выше притолоки, ясноглазый, с прямым соломенным чубом. Когда играл на балалайке, чуб прыгал. Иногда Платон пытался даже петь, но быстро замолкал, схваченный одышкой, и глаза допевали остальное. Одевался он чисто, даже щеголевато, единственный сапог начищал до зеркального блеска, бороду брил каждый день, а рыжие усы закручивал кольчиками, как у Кузьмы Крючкова — знаменитого казака-героя. Свою деревянную ногу сам раскрасил, расписал цветами и птицами и так весело стучал по горнице, что никто про него не сказал бы «калека». Верочка вся уродилась в отца — и глазами, и соломенным блеском волос, и веселым неуныванием. Женя, младшая, та больше походила на мать — смуглая, длиннорукая, сердитая. Мать, Анна Савишна, была сердитая не отроду, а от тяжелой жизни. Пенсия мужу-инвалиду шла грошовая, деньги падали, цены росли. Мать промышляла шитьем, часами стуча на ножной машинке, зингеровской, еще приданой своей. Верочка, сколько себя, так помнила эту машинку — золотопестрые узоры и крупную букву «З» на толстой черной ноге, быстрое снование светлой иглы, жесткий запах новеньких ситцев — розовых, голубых, крапчатых, из которых мать шила платья и кофточки окраинным

щеголихам. Верочке доставались обрезки — длинные или треугольные лоскутки, в которые она заворачивала своих кукол (а куклами были у нее маковые головки). Еще мать зарабатывала поденщиной, ходила в город к богатым барыням стирать кружевное белье.

Верочка у отца научилась смеяться, а у матери — работать. С самых малых лет, с пяти-шести, она матери помогала — и по дому, и в огороде. Цапка большая, вдвое выше Верочки, но она кое-как приспособливалась: перехватит рукоятку пониже, бьет по сорняку коротеньким, детским замахом. Мать по воду — и она с ней; мать — с ведрами, Верочка — с кувшином. Кувшин, когда без воды, — легкий, а с водой — налитой, тяжелый, и вода в нем прыгает, чуть что — через край. Капли разбегаются по пыльной земле, не смачивая ее, оставаясь шариками.

Женя, младшая сестренка, была слаба здоровьем. Фельдшер нашел у нее английскую болезнь, велел поить рыбьим жиром. Рыбий жир стоил дорого, покупали его в аптеке, где за окном прекрасно сияли налитые разноцветными жидкостями стеклянные шары: зеленый, малиновый, солнечно-желтый. Аптекарь, старенький немец в чистейшем халате, был робок, держал голову низко, припратав ее между плеч, словно перед ударом. Он гладил Верочку по голове, говорил: «Oh, frommes Kind!», дарил ей флаконы и коробочки из-под лекарств с длинными бумажными хвостами, где было что-то написано.

Женька рыбий жир пила плохо, приходилось ей нос зажимать, чтобы она рот открыла, и тогда залить туда ложку силком. После этого начинался рев. Ревела Женька длинно и нудно, басовым голосом, по целым часам. Сядет и ревет, словно деньги зарабатывает. Верочка этого рева терпеть не могла, а мать за Женьку заступа-

лась: «Она еще маленькая». Вообще она младшую дочку, наверно от жалости, больше любила. Зато Верочка — папина радость, отец на нее не надышится. Тележку ей смастерил, клетку для соловья, только самого соловья еще не было, дорого стоит, но отец обещал купить, когда разбогатеет.

Он твердо верил, что разбогатеет, да не один, а со всем трудовым народом, дай только разберемся. А пока что было трудно. Мать ужом крутилась, чтобы выгадать лишний двугривенный. С огорода многого не возьмешь, что вырастили, то и съели. Ели они борщ три раза в день: утром, в обед и вечером. Борщ когда какой — по доходам. Чуть получше с деньгами — и борщ пожирней, с мозговой косточкой. Похуже — борщ постный, с чесноком и фасолью. Совсем плохо — борщ почти из одной ботвы. Забелить нечем, коровы нет. Мать брала молоко у соседки Дуняши за деньги, по глечiku в день. Пила одна Женья — она маленькая, да и здоровьем слаба. Наливали ей кружечку молока, в руку — половину баранки, она и тут ухитрялась реветь — зачем баранку сломали. При грозе молоко кисло, и мать давала Верочке простоквашу — Женька-капризница кислого не ест. Такого — да не есть! Простокваша прямо с погреба, голуба, холодна, чудесно режется ложкой на нежно-плотные, дрожащие куски. Кусок лежит на языке и медленно тает, а ложка уже идет за другим, и опять, и опять, и вот уже видно дно, и радость кончается, но не совсем, потому что можно еще высунуть язык и, упираясь носом в тарелку, вылизать ее дочиста. Верочка любит простоквашу и, значит, любит грозу, радуется, когда пухнут на краю неба синие тучи.

Тучи приходили с моря. Бутовых хата стояла у самого моря на высоком, крутом берегу. Ниже летали чайки,

выше — ласточки. Красный глинистый берег увалами спускался к морю и был весь изрыт, расщемлен оврагами. Весной по ним бежала вода, глыбами ворочая глину. Овраг — по-здешнему «враг». «И подлинно, враг, — говорила Анна Савишна, — верно сказано: да воскреснет Бог и расточатся врази его». Начал уже враг подбираться к бутовской хате, подмывал основание, рвал из плетня колья, грыз по краям огород, как ни боролась с ним Анна Савишна, подсыпая землю и камни, подпирая, ухичивая свое жилье.

Близко море, а ходить некогда. Пока сходишь туда-обратно, полдня как не бывало, а работа не ждет. Изредка все же ходила мать искупаться, брала с собою девченок. Жене, по слабости здоровья, купаться было нельзя, но сидеть в горячем песке фельдшер ей посоветовал, говорил, что хорошо от английской болезни. Потому и ходила мать к морю, сидела на пляже, как барыня. Она раздевала Женю, закапывала ее до пояса в песок. Продолговатые сыпучие холмики повторяли очертания длинных слабеньких ног. Мать садилась рядом и, совесть, отдыхала, глядя на спящее море из-под коричневой узкой ладони. Сидела она одетая, в том же старом темненьком платье, в котором работала, шила, стирала. Решив искупаться, она быстро, стыдливо раздевалась и шла к воде в своей длинной сборчатой рубахе, придерживая ее для приличия горстью у горла. Глубокая, почти лиловая чернота лица, шеи и рук резкой чертой отделялась от остального, незагорелого тела — казалось, матери и впрямь в пору было стыдиться такой белизны. Войдя в воду по пояс, мать крестилась и трижды окуналась по шею, обняв себя руками за плечи. На этом купанье кончалось, она выходила вон из воды. Кристальные струи стекали с мокрой рубахи, четко обозначалось все

стройное, узкое тело, облитое прилипшей, лучами расходящейся тканью. Мокрая, выходящая из воды мать походила на серебряную рыбу, вставшую на хвост; Верочка следила за ней с восторгом, обнимая глазами, оглаживая. Но Анна Савишна стыдилась даже дочерних глаз. Она и в баню-то ходить не любила, все из-за жестокой своей стыдливости. Искупавшись, она торопливо одевалась и снова повязывалась платком по глаза.

А Верочку из моря клещами не вытянешь. Давно уже пора домой, а она все бродит по мелкой теплой воде, волны гуляют туда-сюда, все это снует, торопится, блещет. Маленький краб резво и ловко боком-боком бежит по песку и прячется у подножия камня. Камень бросает глубокую тень, где сторожко отстаиваются почти невидимые, песчаного цвета бычки. Плывет голубая медуза; ее студенистое, зыбкое тело полупрозрачно, недолговечно, быстро сохнет на горячих камнях и становится белой пленкой.

— Верочка, домой! — кричит мать. А она как не слышит. — Кому говорю? Вылезай!

Она еще медлит. Сладко и опасно медлит.

— Ве-ра! — врасстяжку, по слогам произносит мать. Ну, тут уже пахнет ремнем, ничего не поделаешь, надо идти.

Подъем крут, тяжел. Из-под ног сыплются камни. Жидкие кустики маслины, цепляясь, тоже ползут по красноватому склону; их острые, удлиненные листья на серой подкладке похожи на перочинные ножички; когда подувает ветер, кусты подергиваются серебряной дымкой. Женя устает, начинает реветь, мать берет ее на руки и, согнувшись, несет в гору. У Верочки руки свободны, она цепляется за кустарник. Тонкие, уколистые прутья непрочны сидят в земле, легко вырываются с кор-

нем; взмах в воздухе пыльного кома — и скольжение вниз на коленях, а то на заду. Мать бранится. Солнце палит. Когда после такого солнца войдешь в хату, перед глазами долго еще плавают радужные круги. Радостно хочется пить, звякает ковшик, и глоток холодной воды, чуть отдающей ржавчиной, наполняет живот и все тело немислимым счастьем.

4

Вообще Верочка жила животом. Именно там, в животе, был у нее источник непрерывного счастья, и там у нее екало, когда думала о приятном.

Много приятного на свете. Приятно есть. Приятно купаться. Приятно ходить в город с матерью на постирушки.

Мать наденет ей желтенькое, цыплячье платье с оборками, берет за руку и ведет. Кончается знойная балка, и вот уже город.

Улицы широки, вымощены красноватым булыжником. По краям тротуаров каменные столбики, у которых собаки, весело вскинув ногу, справляют свои дела. Круглые тумбы пестрят афишами. Над окнами магазинов большими шатрами раскинуты полотняные навесы — маркизы, края у них с фестонами, обшиты красной каймой. Ветер вскидывает фестоны, и кажется, что город нарядно летит. В тени акаций, пронизанной солнечными кружочками, цветочницы продают розы. Цветы стоят и лежат в ведрах, в тазах, в суповых мисках. Колкие стебли не сжаты, не стиснуты, вольно разбросаны, розы прохладны, сбрызнуты каплями, пахнут. Запах притягивает Верочку, как пчелу. Уже пройдя мимо роз, она все оборачивается. «Не вертись!» — говорит мать и

легонько, небожно шлепает ее по руке. Рука у Верочки пухлая, как булочка, и от шлепка слегка зарумянивается.

Вот они приходят в дом — большой, каменный, трехэтажный. Черный ход — со двора. Двор глубокий, прохладный, с чинарой в углу. Дети крутят скакалку, играют в «классики». Верочка с ними бы поиграла, да некогда ей — надо матери помогать.

На кухне жарко, светло, разноцветно, медные кастрюли блестят розовым, самовар — желтым. В самоваре смешно отражаются вещи и лица. Верочка смотрит в самовар и смеется: глазки у нее становятся мелкими, как пуговицы, а нос лезет вперед, распухает. Мать не любит, когда Верочка смотрит в самовар, и нарочно завешивает его салфеткой.

Белья целая куча. Мать стирает в большом корыте, Верочка — в маленьком тазике. Бело-синее жуковское мыло скользит в руке, только недоглядишь — вывернется и на полу. Дыбится пышная пена, вся из радужных пузырьков. Мать стирает, низко согнувшись, не снимая платка; спина у нее все чернеет и чернеет от пота.

Кухарка готовит обед на огромной плите, что-то напевает, постанывая; шипит выкипающий суп, резво бегают капельки по раскаленному чугуну, сытно пахнет мясным наваром. После стирки кухарка зовет прачек обедать; прежде чем сесть за стол, обе крестятся, мать — распаренной, синеватой рукой, Верочка — мягкой булочкой. Кухарка садится с ними, но сама не ест, только вздыхает. Обед хороший, господский. Верочка до того наедается супом, что живот у нее выпирает мячиком. Для второго и места нет, а жаль — на второе котлеты. Верочка, из жадности, все-таки просит котлетку, но есть уже не может, отщипнет кусочек и отваливается, молчит, мигает. Котлету, ворча, доедает мать.

После обеда идут во двор — вешать белье. Мать стоит на табуретке, а дочка снизу ей подает тяжелые, винтами скрученные жгуты. Мать встряхивает простыню, расправляет — легкий хлопок, и она уже висит, прищемленная за концы, изгибается, дуетса парусом.

Просохшее, чуточку влажное белье пахнет свежестью. Верочка с матерью гладят. У матери большой дуговой утюг, похожий на паровоз, сзади огненный глаз, впереди труба. Утюг ходит танцуя, из-под него воздушно встает махровая, пенно-белая кружевная оборка, и вся блузка, когда готова, не виснет на пальце, а взлетает облаком. Гладить кружева и оборки Верочке пока не дают, гладит она что попроще да попрямее, самым маленьким утюжком, но и тот для нее тяжел. Поднимает она его двумя руками, но гладит исправно, не сожжет, не запачкает. «Ось гарна дивчина!» — вздыхает кухарка и дает Верочке леденец. Верочка сама леденца не съест, сбережет для Женьки. Младшую сестру она любит сердитой любовью.

Белья много, гладят до вечера. Вечером идут домой. Улицы ярко освещены, шипят газовые фонари, гуляет нарядная публика, качаются махровые шляпы, звенят офицерские шпоры, и все это — как сон. Красные розы в газовом свете кажутся черными. Верочка опять засматривается на розы, робко, ожидая окрика, но мать уже до того устала, что забывает ее одергивать, идет как во сне.

А дома, над обрывом, — тишина, темнота, хаты спят, редко светится розовое окно. Звездное небо шевелится складками. Над морем шарят, скрещиваясь и расходясь, длинные лучи прожекторов. Домашний запах хаты зовет ко сну. Голова становится мягкой, валится. Верочка только успевает донести ее до подушки — и уже спит.

Пока мать с Верочкой в городе, отец дома сидит, нянчит Женьку и расписывает деревянные ложки. Платят ему по копейке за штуку.

5

Платона Бутова в молодости прозвали «Светит месяц» за то, что мастерски играл на балалайке известную эту песню — играл с переборами, с дребезгом, с лихим стуком костяшек по треугольной деке. Так и подмывало от этой песни, так и несло в пляс. Был он чудака, заводила, шутник, враль. Бывало, такого наврет, хоть святых выноси. Врал, а правду любил. Грамоту знал хорошо. Выпить тоже был не дурак, но до положения риз не напивался, а, выпивши, брал балалайку и начинал играть на ней божественное. Поп, отец Савва, старик свирепый, грозил ему за это божьим гневом.

Был Платон беден — ни овцы, ни курицы, ни семьи; изба-развалюха подперта кольями. Отец с матерью давно померли, почти ничего не оставили сыну, а что оставили, то он роздал. Легок был на руку, мог отдать последнее и не вспомнить. Девки по нем обмирали, он их не отпугивал, но и жениться не торопился. Какая-то веселая непутевость кидала его из стороны в сторону. Кормился он, батрача у богатых мужиков, деньгами не дорожил, ел за двоих. Был у него живописный дар, мог бы деньгу зашибать, расписывая сундуки да ставни, но куда там — не мог усидеть на месте. Что заработает — прогуляет с приятелями, а то нищему отдаст — и опять гол как сокол.

Никак не мог ни к чему прислониться, пока не полюбил Анку Морозову — попа Саввы дочь. Где уж они повстречались, где слюбились — неизвестно. Поп Савва с

попадьей Маланьей дочку держали в строгости, ни боже мой — никуда не пускали, была она уже просватана за семинариста из Киева, которого ожидал в торговом селе богатый приход. С собой Анка была красавица — высока, ровна, смугла без румянца, глаза бархатные, как камышовые свечи. А уж скромна — не ответит, не улыбнется, глаза в землю — и мимо. И вот приворожил ее «Светит месяц» — пустобрех, балалаечник, голь перекатная, за душой ничего, кроме той балалайки да розовой рубахи, в праздник носить. И никто ничего про них с Анкой не знал, пока не случилась беда. А беда открылась, когда уже была девка на пятом месяце. Матушка-попадья волосы на себе рвала, отец Савва ногами топал и клюкой замахивался, да что поделаешь — проворонили дочь. Пришлось срочно ее за Платошку-бездельника выдать. Поп Савва сам их и обвенчал, венчал, негодуя, а когда дьякон возгласил: «Жена да убоится своего мужа», сплюнул в сторону. Однако не проклял, выдал дочери даже приданое — сколько-то деньгами и швейную машину «Зингер».

После свадьбы Платон Бутов остаться в селе не захотел, а увез свою молодую в богатый и веселый приморский город, где думал и жизнь начать богатую и привольную. На приданные деньги купили они хату с огородом на высоком крутом берегу, где внизу летали чайки, а сверху — ласточки. Еще купили двуспальную кровать с шарами и граммофон с лиловой трубой, расписанной золотом. На стене повесили балалайку и стали жить-поживать, проедать приданные деньги. А их и немного оставалось.

Но Платона это не тревожило, он вообще деньгам счета не знал, была у него поговорка: «Будет день — будет пища». По вечерам он заводил граммофон, ставил

его на окошко, а сам выходил с молодой женой наружу, на холодок. Они сидели, обнявшись, глядя на море, и слушали, как сладко рыдал граммофон, негромко, на два голоса, ему подпевая.

Иногда в море появлялся корабль и, светясь огнями, медленно шел по темной далекой воде; в такие минуты у Платона внутри что-то ныло и замирало. Эх, пошел бы он в порт, нанялся матросом, повидал бы дальние страны. Слона, обезьяну увидел бы не в зверинце, а так. Но жалко было жену — даже такую, тяжелую, подурневшую, он ее крепко любил. Наслушавшись граммофона и насмотревшись на море, они шли в хату и ложились в новую двуспальную кровать, спали тревожно, под звон пружин, и нередко по ночам посещали Платона шальные мысли, что, мол, кончилась веселая жизнь, что зря он себя связал, хотя бы и с этой, с любимой.

Когда родилась Верочка, он сперва огорчился, как всякий отец, получив дочь вместо сына, но скоро об этом забыл. Поносив девочку раза два-три на руках, он уже любил ее без памяти. Влажная щека, порхающий глаз, волосы нежные, цыплячьи до того были пронзительны, что он даже стонал. Позднее, когда Верочка научилась уже улыбаться, он мог сидеть часами, наклонясь над ребенком, щелкая, чмокая, весь выходя из себя, лишь бы еще раз увидеть святую, беззубую эту улыбку.

Верочка росла на диво спокойным ребенком, плакала редко, спала хорошо. Утром, проснувшись, играла своими ножками и весело гугукала, будь хоть мокрым-мокра. «Здравствуйте, барыня, Вера Платоновна!» — говорил ей отец, и она смеялась. «Здравствуйте, барыня, Вера Платоновна!» — повторял он, выдвигая голову, как бы бодаясь. Эта шутка имела вечный успех. В ответ на нее Верочка вся исходила смехом, чуть дребезжащим, счаст-

ливо икающим. Слушая ее, отец тоже начинал смеяться и не мог перестать. Взаимный смех доходил до полного восторга, до исступления. Не зная, что уж и делать, отец хватал девочку и подбрасывал к потолку. Она падала ему на руки толстеньким ангелом, вся раскинувшись, словно паря. «Будет вам, оглашенные!» — притворно сердилась мать, а сама тоже смеялась, рот прикрывая платком. Но глаза были печальны, будущее ее тревожило. Платон полдня играл с дочерью, а в свободное время учил скворца говорить.

Тем временем кончились приданные деньги. Пришлось продать граммофон. Анна Савишна жалела красивую, нарядную вещь, а Платон говорил беспечно: «Что с него? Только угол занимает...» Скоро проели и граммофон. Платон продал кровать с шарами. Задешево продал, половины не выручил, что сами платили. Анна молчала, про себя жалела не кровать, а расшитые подножи, которые Платон задаром отдал вместе с кроватью. Спали они теперь на полу, и снова Платон говорил, что так даже лучше, прохладнее, что ему ночной звон надоел. Звону теперь и правда не было — тихо спал Платон, подложив под голову сильный белый локоть, тихо дышала Верочка, тихо лежала Анна Савишна, тревожась о будущем.

Скоро прожили и кроватные деньги. Платон замахнулся было на швейную машину, но тут уж Анна Савишна встала стеной: «Не отдам! Она еще нас кормить будет!» Впервые она осмелилась перечить мужу. Платон несказанно был удивлен, посмотрел на жену, как на диковинного зверя, потом махнул рукой и засмеялся: «Ну, бабы!» Не сказавши, не посоветовавшись, пошел на завод наниматься. Там ему не понравилось: душно, грохочет, железом воняет. Нанялся в батраки к соседу-